Режим доступа: http://www.sibogni.ru/archive/75/905/

Гарий НЕМЧЕНКО

ГОРБАТЫЙ МОСТ

Нет-нет, недаром тогда в командирской рубке «Азова» подначивал меня не кто иной — сам главный штурман Военно-морского флота России:

— Еще раз посмотрите, — нарочно строго настаивал. — Хата под соломенной крышей... Казак в черкеске. Конь рядом... неужели не видите?

Разумеется, я посмеивался: ладно, мол, Евгений Геннадьич, ладно — хватит «юнгу» разыгрывать! Какие соломенные крыши? Какие там нынче могут быть казаки? Какие кони?!

— А вы посмотрите, посмотрите!

Я снова приникал к окулярам хорошо настроенного прибора, опять поворачивал его мощные линзы, медленно скользил взглядом от одного покатого окончания острова к другому, почти такому же: выгоревший к середине лета, с коричневатыми проплешинами пустынный холм, распластавшийся над синей полосой моря... Серый, судя по окраске военный, катерок неподалеку от еле заметного причала рядом с одиноким белым зданьицем на берегу и несколько слабо различимых домишек поближе к вершине... деревенька?

Греческий остров Лемнос, на котором после гражданской войны бедовали казаки-эмигранты. Как называли они его, Ломонос...

— Ну, что — видите? — настаивал Главный штурман.

Тогда я так ничего и не разглядел.

Зато через два-три года!..

Какие дали стали мне открываться вдруг дома, в Москве, когда стоял, ткнувшись лбом в оконное стекло на своем двенадцатом этаже на Бутырской улице... Какие видения вдруг возникли потом в Сибири, в нищем теперь, совсем почти провалившемся под землю Прокопьевске! Что я увидал потом на Кубани и Северном Кавказе: не только в Черных горах, но, вот ведь какое дело, — высоко над ними, чуть ли не в небе!

К Лемносу мы шли тогда, как понимаю, не торопясь, потому что за нашими тремя БДК — большими десантными кораблями с миротворцами для Косова на борту и с техникой в трюмах — следовали ещё два почти таких же: пропустить через Босфор все корабли сразу турки отказались, отряду предстояло соединиться уже после прохода через пролив — как раз возле Лемноса, в «точке четырнадцать».

Прекрасно понимаю, что это «мы шли» звучит примерно также, как известное заявление мухи, сидевшей в поле на рогах у вола: мы пахали. Но что было, то было: писательская судьба неожиданно, как сперва показалось, подарила мне, истосковавшемуся за последние годы, давно заждавшемуся хоть какой-то перемены жизни романтику, и этот морской поход, и позднее как бы уже слегка насмешливое посвящение в моряки с традиционным подношением стакана соленой забортной воды — вместе с тельником и черной пилоткой...

Ранней пташкой я был всегда, а тут вдруг такая возможность — встречать солнце в открытом море. Несколько дней подряд я первым появлялся на полубаке рядом с головными каютами и долго простаивал в полном, благословенном одиночестве, но в тот день, как нарочно, поднялся поздней обычного: это-то и дало Евгению Геннадьевичу Бабинову повод надо мною пошучивать.

— Я полагал, юнга...

Он первый так назвал меня день назад, протягивая подписанный на память о нашем походе «Устав корабельной службы».

— ...полагал, вы все это как раз и разглядите: недаром мы с вами вчера — столько о Лемносе...

Как подобает в похожих случаях, когда оказываешься в местах достопримечательных, я попробовал вызвать в воображении почерпнутые из книжек картинки былого... Вот двое-трое казачков, само собою — в подштанниках, как без них, медленно входят в холодную воду, поднимается уже до креста на груди, и они задирают руки: в правой шашка или кинжал, а левая как бы заодно с ней покачивается... Увидит осьминога сквозь толщу моря или придется нырять за ним?

Подумать, и в самом деле: только в страшном сне и могло привидеться, что на «вострую» шашку сперва придется насаживать эту морскую гадину, а после пластать её на студенистые ленты на берегу — подсохнет, и за первый сорт пойдет на еду, а то, глядишь, чего-нито дадут за неё местные греки, тоже уже успели распробовать... голь на выдумки хитра, эх! Тем более эта голь: теперь без отечества, теперь, и правда что, — перекатная...

А что кунаки-черкесы?

Ещё недавно одною лавой неслись на красных, но вот англичане, эти иезуиты, придумали, что охранять казаков должны горцы — и ещё как теперь охраняют, вошли в роль... Никак не могут англикашки простить свой проигрыш в давней Кавказской войне — ну, никак!

Может быть, кроме прочего под австрийским Лиенцем продали потом Сталину казачков ещё по той же причине?..

Отомстить, наконец-то, казакам: Кавказскую войну выигравшим.

И вот пробовал я все это, значит, представить на местности — и палаточный лагерь с походною церковкой, и горькую песню из одних мужских голосов, — но шло оно вяло, и оттого, что час одиночества я проспал, казалось теперь как бы нарочитым.

Вспомнил вдруг картину Сергея Гавриляченко «Лемнос», висящую у него в мастерской в Москве: несколько стоящих на голом берегу одетых уже не по форме казаков печально, с безнадегой в глазах всматриваются в морскую даль... угу! —теперь думаю. Уж не наш ли, пришедший сюда через восемь десятков лет БДК «Азов» они высматривают?..

Но ведь зачем-то он пришел сюда, наш «Азов». Зачем-то я на нем оказался!..

Оставил в покое окуляры, вышли с Евгением Геннадьевичем из командирской рубки на боковой мостик, и тут я увидал, что неподалеку от нас — уже не два корабля, как было с вечера, а три.

— Четвертый «десантник» подошел, а пятого ещё нет? — спросил у главного штурмана.

— «Десантники» оба пока на подходе, — сказал он будничным тоном. — А это ночью догнал нас шахтёр...

Я прямо-таки возмутился:

— Какой ещё посреди моря шахтёр?

— Спасатель, — улыбнулся штурман. — «Шахтер» у него название... да вон, вон — и отсюда буквы видать, — и вдруг вдохновился. — Сауна там, между прочим, скажу я вам... Если ещё задержимся, может, катер вызовем? Мне-то все равно туда надо...

— Нет, но откуда он тут взялся: «Шахтёр»?

— А разве я вам не говорил? — с дружелюбным терпением начал Евгений Геннадьевич. — Он тут неподалеку болтался, а когда мы вышли в Салоники, из Главного штаба получил приказ в точке «четырнадцать» к нам присоединиться, — и глянул на меня повнимательней. — Он вам чем-то не нравится?

Мало того!

«Не нравится» — слабо сказано...

Но как тут все объяснишь?

В жизни каждого из нас есть сокровенное, как бы стволовое начало и есть ответвления, есть побеги, среди которых, кажется иногда, много не только лишних, но, может быть, для дерева даже вредных...

Таким когда-то считали дружки мой давний побег из Москвы на сибирскую стройку... если быть точным и воспользоваться предосудительными нынче, полузабытыми терминами — на ударную комсомольскую стройку. Когда-то мне уже приходилось писать, как следовало потом за мной по пятам моё «ударное» прошлое: в доме творчества в тихих зимою Гаграх Юрий Павлович Казаков, которому понравились мои рассказы тех лет, наставлял меня: «Забудь это слово — Запсиб, и будешь хороший русский писатель...»

Забудешь тут, как же!

Кто в детстве о море не мечтал?.. После школы я собирался поступать в военно-морскую медицинскую академию, но на комиссии в военкомате вдруг обнаружилось: у меня дальтонизм. Якобы не могу цвета различать... Пришлось о море забыть. Но через столько десятков лет вдруг сбылось: я на военном корабле! В дальнем морском походе. В роли журналиста, правда. Но, слава Богу: чем эта роль плоха?.. Целый день слоняюсь от кормы к носу, разговариваю с матросиками-первогодками: по поручению командира похода контр-адмирала Владимира Львовича Васюкова пытаюсь восполнить «дефицит общения», с которым, словно с заразной болезнью, прибыли на службу ребята из дальних, вымирающих нынче сел... С рабочих окраин малых сибирских городов, где тоже мало разговаривают: если что, сразу — в морду...

Благополучных детишек среди морячков, считай, нет. Как и вообще нынче в армии: откупают родители.

Между разговорами с морячками, нет-нет и приткнусь к офицерскому кружку: кап-раз, -два, -три наперебой вспоминали, как в Средиземном море еще недавно держали в страхе военные корабли «американосов» — у этих «дефицит понимания», «дефицит сочувствия», а мне ли как раз их не понимать?.. Мне ли им не сочувствовать?

И вот оно: Черное море, Босфор, длинный галиполийский полуостров, на который высадили русских эмигрантов из офицерского корпуса, потом — «казачий» Лемнос... сама история!

Тем более для меня: к у б а н ц а... да что там Кубань, что казаки!

Когда прошли Босфор, позади остался Стамбул, из командирской рубки выглянул Васюков, позвал глазами к бортовым окулярам, где нет-нет, да баловали меня наблюдатели: давали иной раз всмотреться в берег.

— Отсюда ничего не увидите, — сказал с нарочитым сожалением.— Но в тридцати километрах справа по борту — то, что осталось от легендарной Трои... попробуйте представить. Почувствовать!..

Не самое ли время вспомнить новейшие исследования, основанные на полунамеках древних историков: Гектор был славянин, под стенами Трои стояли наши... русский космос! До которого, к сожалению, так редко приходится подниматься.

В далеком Мраморном море, на «Азове», ощущение его тонко кольнуло душу, но вот нате вам: невесть откуда появляется спасатель «Шахтер», напоминающий мне, «совку» беспросветному, рабское, как уверяют теперь клеймо: сибирское мое, «ударно-комсомольское» прошлое...

В удобной двухместной каюте, которую занимал я один, подсел к столу, пододвинул к себе записную книжку, рядом положил ручку и, прежде чем взяться за описание острова, встал и левой рукой повыше уровня глаз поднял овальную, в кожаном окладце иконку святого Георгия, подаренную мне Мухтарбеком Кантемировым как раз для этой цели — для покровительства Уастырджи, как его зовут осетины, в дальних путешествиях, на незнакомых дорогах...

«Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца!.. Ты рекл еси пречистыми Твоими усты: яко без мене не можете творити ничесоже...»

Молитва перед началом всякого дела...

И тут вдруг пришло: Ирбек Кантемиров, Юра, старший-то братец Мухтарбека — большой друг и почитатель шахтеров, да-а-а...

Сколько мне принимался рассказывать!

— Можешь поверить?.. Первые после войны гастроли были у нас в Прокопьевске, отец нас туда повез, и я, ну, как прикипел к нему... удивительный город!.. Весь на буграх, и народ какой-то особенный: хоть где-нибудь на горе, хоть на краю провала, а непременно — свой дом с коровой и с кобелем на цепи... Обязательно мотоцикл. А с работы он, знаешь, как идет?.. Почти у каждого на лице синие крапинки от угля и черные круги возле глаз. На левом плече за петельку пиджак поддерживает, а в правой у него в пальцах — две бутылки водки. Обязательно две. Не прячет, ни от кого не скрывает — даже как бы наоборот. Даже как бы гордится: а мне наплевать, кто что обо мне подумает... Отработал — иду отдыхать. А приходит в цирк — ну, что откуда берется! Всю страну объехали, где только не бывали, но таких душевных зрителей, как в Прокопьевске, таких понимающих — больше нигде. Как они аплодируют!.. Руки, и правда, отбивают. Кричат, вскакивают, на шею друг дружке бросаются. Плачут как дети... слезы утирают, ты веришь?.. А после представления — не отобьёшься. Хватают под руки: пойдем в ресторан!.. Мы к этому, ресторану, веришь, настолько привыкли и официанты с поварами к нам — тоже, что когда и без них, бывало, без шахтеров, придешь уже поздно, а он закрыт, ресторан... Постучишь, а батя в дверях, швейцар: а-а, осетины!.. Чего припоздали?.. Ну, проходи-проходи!.. Не-ет, что ты: в Прокопьевске удивительный зритель. И отец любил туда возвращаться, и я, когда остался за него... Собираешься на гастроли в Сибирь, и если есть выбор —обязательно говорю: мне — Прокопьевск!

И так живо представил я рассказы Ирбека об этом самом Прокопьевске, о Прокопе, как называли его мы, жители соседнего Сталинска, в один момент ставшего потом Новокузнецком, попросту — Кузней... Так живо, что встал из-за стола, вышел из каюты на полубак и долго там стоял, вглядываясь в очертания судна-спасателя... ну, надо же!

Уходишь от Сибири, от стальной, от черной от угля страны своей молодости, как любил я когда-то обозначать те края, а все равно он, «Шахтер» — вот он!

Ты от него — за тридевять земель, а он тебя уже поджидает в «точке четырнадцать»: и здесь догнал!

Так это и осталось у меня в сознании, как гвоздь в белой стене, на которой ничего больше нет: Мраморное море за Босфором, остров Лемнос, на котором бедовали казаки, и вдруг... вдруг...

Сперва там, а позже в иных краях все чаще начал припоминать наши с Юрой былые разговоры об этой неумытой, провальной Прокопе...

Как бы между делом в очередной раз сообщаю ему, что снова лечу в Новокузнецк, а он — тут же:

— А в Прокопьевске ты не будешь? Не заглянешь туда?.. Я там — уже давненько, эх... Интересные места. И такие названия. Прокопьевск — это сам город, а железнодорожная станция там, если помнишь, — Усяты...

— А зритель та-ам, — начинал ему в тон .

И он ловился:

— Да что ты!.. Это я тебе говорю: такого зрителя нигде больше — ни по стране, ни за рубежом. Даже мексиканцы... ну, выстрелит вверх из револьвера: этим он все сказал. Но чтобы так радоваться и так понимать...

Конечно, мне это представлялось немножко странным: все эти воспоминания Юры о Прокопе. Как-то не без подначки спросил его: что ты, мол, все Прокопьевск да Прокопьевск — может, там у тебя любовь была и никак не можешь забыть?

Нет, отвечает. Ты понимаешь: там зритель особенный. И места, места... Городок, может, помнишь, в тех же краях: Б а ч а т ы. А по дороге в Кемерово...

— Ясно, ясно! — говорю. — Барачаты!

— Это ведь наше: барачет бысын. Пожелание изобилия...

И я подхватывал:

— Вот-вот. Изобилие ему!.. Да барачаты — это всего-навсего маленькие бараки... изобилие ему, эх!.. Забыл уже? Я тебе читал как-то: стихи моей молодости об этих местах?..

— Припоминаю что-то, но...

И я становился в позу: расправлял плечи и пальцами туда и сюда вел по усам:

— Расправил я Усяты, взял руки под Бачаты...

И Юра начинал улыбаться:

— Ну-ну?

И я вскидывал на уровне груди растопыренную пятерню:

— Да что же вы, девчаты, забились в Барачаты?!

Отсмеявшись, он просил:

— Ты мне перепиши их.

— Да зачем тебе?

— А ты думаешь, один я те места вспоминаю?.. Поеду в Осетию, прочитаю старым наездникам, они тоже все вспоминают Прокопьевск... как ты говоришь? Прокопу...

Далась им, думал я, эта разбросанная на черных шахтовых выработках грязная и почти бесконечная Прокопа, без всякой границы переходящая в такой же мрачный соседний горняцкий город — Киселевск. Страшный этот, похожий на раковую опухоль сдвоенный «мегаполис» шутники-старожилы называют: Киселепьевск .

Потом случилась одна маленькая история, которую помню, кажется, по минутам: настолько она была в духе Ирбека, в его широком, щедром характере...

Летом 98-го приехавшие из разных концов России шахтеры стали палаточным лагерем вокруг Горбатого моста у Белого, будь он неладен, дома...

Сам я к этому времени уже окончательно распрощался с иллюзиями черной от угольной пыли «бархатной революции», уже печально посмеивался над обманутыми горняками, и к Горбатому мосту не спешил: зачем лишние разочарования...

Но тут вдруг мне позвонил адыгейский писатель Аскер Евтых, которому тогда уже перевалило за восемьдесят и решительным голосом предупредил, что вечером его не будет дома: хочет поехать к Горбатому мосту, отвезти шахтерам несколько бутылок минеральной воды — на улице вон какая жара, а по телевизору передали, что они там помирают от жажды... что ты с ним будешь делать!

Совсем недавно ушла из жизни его жена Валентина Николаевна, Валечка, которую он, и правда, боготворил и о которой написал потом свою последнюю повесть: «Я — кенгуру». О том, что любовь к этой мягкой, деликатной, ласковой женщине всегда носил в сердце бережно, как далекое экзотическое животное носит в сумке на животе своих малышей... ах, Аскер, Аскер! Солдат в переводе с арабского, боец, всю жизнь — из-за вероломного предательства младших искателей славы на родине, в Адыгее — и в самом деле, ведший в Москве суровую жизнь одинокого воина-отшельника, сам он тоже был трогателен, как ребенок, и чист, и дружбу с ним вспоминаю теперь с болью и радостью, задним числом принимая её как большой подарок судьбы...

Оставшись один как перст, Аскер явно затосковал и, пытаясь хоть как-то поддержать его, я, как младший, каждый вечер набирал его номер, а он, аульский хитрец, отдаривался тем, что, позвонив иногда, непререкаемым тоном просил пригласить к телефону «Ларису Александровну» — мою жену. Хотел с ней якобы по каким-то хозяйственным делам посоветоваться, а на самом деле — расспросить о Майкопе: и ей, бывшей майкопчанке, сделать приятное, и самому душу отвести...

Лето стояло, и действительно, жаркое, был август, и он задыхался там на своем двенадцатом этаже, выходил в основном только за хлебом да за лекарствами и вдруг умудрился загрипповать... Приходить к себе запретил категорически, а я как раз купил ему громадный астраханский арбуз. После долгих споров сошлись на том, что в лифте я поднимусь на этаж, на виду у него оставлю арбуз на площадке и тут же захлопну дверцу, укачу вниз.

Все так и было: он, полный властной значительности, в одних трусах уже стоял на площадке, я выложил арбуз, поднял в приветствии ладонь, нажал кнопку... Подходил уж к собственной двери тоже на двенадцатом, на Бутырской, когда вдруг подумал: арбуз никак не меньше десяти килограммов, нарочно такой выбрал — сделать понимающему человеку приятное... Но как же он его затащит в квартиру — после недавнего инфаркта больше двух килограммов поднимать ему запретили категорически!..

Первым делом бросился к телефону, набрал номер.

— Молодость пришлось вспомнить, — посмеиваясь, сказал Аскер. — Ногой катил арбуз по площадке, а после из прихожей гнал на кухню... постинфарктный футбол!

И вот услышал, видите ли, по телевизору, что шахтерикам, бугаям этим, нечего пить и собрался нести им минералку!

Старая школа?.. Благородное сердце?

Благородное черкесское сердце.

Мне, и правда что, повезло: в этом они с Ирбеком словно соперничали...

В ту пору Ирбек был во Владикавказе, а когда вернулся в Москву, сам я на Горбатый мост ходил уже как на службу: журналу, где в то время работал, потребовался очерк о рабочем движении.

— Бываешь там? — обрадовался Ирбек. — Давай сходим вместе: хочу посмотреть, что там на самом деле...

— Я думал, ты осетин решил поддержать...

— Откуда им взяться там? — удивился Ирбек.

— Да вот нашел одного. Специально для тебя.

— А как фамилия?

— Дзуцев. Тезка твой. Тоже — Ирбек.

— Дзуцев... Дзуцев, — повторил он, пытаясь, видно, припомнить. — А по отчеству?

— Может, тебе также — объем грудной клетки и размер обуви?

— Завтра у тебя будет время? — спросил он решительно.

Назавтра мы встретились у станции метро «Краснопресненская». Возле ближайшего киоска я достал бумажник, и он тоже полез за деньгами.

— Что ты обычно берешь ребятам?

Посмеиваясь, взялся ему рассказывать:

— Это даже как бы не я. Мне тут Аскер... Рвался отнести мужичкам воды, а у самого сердчишко, рассказывал тебе, еле тянет. Куда по такой жаре? Дал ему слово, что вместо него непременно отнесу, и с тех пор у меня проблем нет: беру две бутылки по два литра или три «полторашки». И раздаю ребятам: от черкесского писателя Аскера Евтыха, говорю...

Он остановил мою руку с бумажником:

— Сегодня будем — от осетин, погоди... Надо было, правда, какую-нибудь сумку, а то в руках как-то...

— Джигиту, оно вроде и с сумкой не к лицу? — пошучивал я, снимая с плеча свою. — Давай! Так и быть, носить будет русский Санчо Панса, а раздавать — осетинский Дон Кихот...

Пошли мимо стадиона с высокой, окрашенной в черный цвет железной оградой, на которой в траурных рамках с красными тряпицами по бокам густо висели фотокарточки погибших в 93-ем году.

Мой друг остановился:

— Сколько ж тут народу тогда положили?

— Не знаю, Юра, — сказал я. — По официальным цифрам — что-то около четырех сотен... А знающие ребята говорят, что по ночам ещё долго сносили на баржи и увозили куда-то за город: никак не меньше трех тысяч...

Он стащил свою летнюю кепочку:

— Где мы, слушай, живем? В какой теперь стране? Постояли с ним на краю палаточного городка, осматривая как будто в большой чаше расположенный чуть внизу шахтерский лагерь, и он спросил:

— Так где, говоришь, мой тезка?

— С него начнём?

Но прежде мы наткнулись на другого...

Поперек набитой в порыжевшей траве тропинки, явно в позе «поддатого», лежало большое, в рост человека чучело с перекошенным в пьяной улыбке хорошо знакомым лицом...

— Это он на рельсах, что ли? — нехотя улыбнулся Ирбек.

— Вчера на рельсах и был, — повел я рукой. — Да вон они, чуть в сторонке.

— А это, значит, отполз?

— Может, кто оттащил... пожалели!

Мимо торопливо прошел небритый мужичок в трусах и в майке, но с шахтерской каской на голове. Перешагнул через «царя Бориса», пошел было дальше, но вдруг вернулся, деловито попинал чучело носами грубых ботинок, обтер потом об него бока своих башмаков и задники, заспешил дальше...

Обувь, считай, почистил...

— Тебе не стыдно? — горько спросил Ирбек, поведя глазами на чучело. — Не за него. За нас?

— Стыдно, Юра.

— Когда за границей выступали, батя всегда говорил: джигиты!.. Пусть каждый помнит! За ним — Советский Союз и Россия. Россия и Кавказ. Кавказ и Осетия. Осетия и село, где родился...

Голос у него дрогнул, но у меня и без того уже щипнуло глаза.

Когда вышли на край, где стояла крошечная палатка Ирбека Дзуцева и я указал на неё глазами, друг мой протянул руку к сумке с бутылками воды:

— Дашь одну?

По тону его понял, что с тезкой своим хочет поговорить один на один.

— Побуду пока во-он у той большой палатки, запомнишь? — спросил Ирбека. — Найдешь меня возле неё: палатка любимых твоих прокопчан...

У земляка он пробыл долго. О чем они там тогда, два Ирбека, два таких разных человека, беседовали?

В папке с архивами Кантемировых до сих у меня хранятся листки со стихами тульского шахтера Ирбека Дзуцева — явно автобиографическими:

Жаждущий Атлантики воздуха вдохнуть,
Потерял надежду — как её вернуть?
Потерял квартиру, потерял семью —
Янки обнадёжили, ясно почему.
Я на баррикадах цепи разрывал,
Ельцин-разрушитель крепче заковал.
Наглая бездарность якобы реформ —
Перешли в России на подножный корм.
Где же ты, Америка золотых ворот?
И горит ли факел Статуи Свобод?

Дата внизу: март 1995 года.

А вот два года спустя:

Обманным путем у народа
Вы отняли право на труд.
Товары заморского рода
Потоком в Россию текут.
Зачем россиянам работать?
Не лучше ли всем торговать?

И тут же две коротких строки: «Спасибо, Ельцин, за значок — но я уже не дурачок!»

Прозрел наш туляк, прозрел!

А ещё через год, выходит, уже и созрел. Окончательно:

Нарастает гнев народа,
Никому не устоять.
Где работа? Где свобода?
Фарс пора уже понять.
Пикетируют шахтёры
У Горбатого моста:
Президент и клика — воры!
Эта истина проста.
Будьте прокляты навеки
За предательство людей.
Мы — не быдло. Человеки!
Вдохновители идей.
Умереть достойно сможет
Каждый труженик из нас.
Наша смерть ряды умножит —
Победим в последний раз!

Под стихами обозначено: Горбатый мост. Пикет. Июль 1998 года.

Человек искренний, эмоциональный, больно раненый предательством, Ирбек Дзуцев, и в самом деле был готов умереть. Потому-то и отдал мне тогда свои стихи: ходил упорный слух, что вот-вот нагрянет ночью спецназ либо нанятые «царем Борисом» бандиты, и от палаточного городка останется лишь мокрое место...

Что взять с «простого шахтерика», если так или примерно так думал боевой генерал Лев Рохлин, погибший буквально через день после того, как принял роковое для себя решение: стать во главе этой черномазой оравы — вместо самозваного шахтерского «генерала» Володи Потишного, кубанского казачка родом из Ейска...

Бедная наша родина, самими же нами по излишней доверчивости, по глупости нашей растерзанное Отечество!..

...У прокопчан как раз был затянувшийся «пересменок»: одни пикетчики домой в Сибирь уехали, другие ещё не появились, и в громадной палатке жил только «дежурный сторож» — пожилой весельчак Петюня, как сам мне представился, тут же сообщив, что это, само собой, — его «конспиративная кликуха»...

Познакомились мы с ним ещё в мой первый приход к пикетчикам, а накануне я принес ему пищевой, с широким горлом, термос с «горячим». Термос был шахтерского происхождения: перед этим в Новокузнецке нет-нет да приходил с ним ко мне в гостиничный номер «гроз» Коля Ничик — «горный рабочий очистного забоя», старинный, с детства на Украине «рабкор», в Сибири постепенно пробившийся в писатели. Как я на него не ворчал, как, случалось, не покрикивал — с хохлацкой щедростью приносил от жены, от Надежды Викторовны, «домашнего», а, когда меня провожали домой, в Москву, умудрился-таки незаметно сунуть термос с жарким в купе вагона: дорога, мол, известное дело, — долгая, всё съест!

Теперь я был рад случаю отдариться, тем более, что отдарок предназначался не только Коле — как бы всей страдающей нынче шахтерской братии...

Оглядевшись теперь по сторонам и не увидав Петюни, сходу сунулся было в палатку, но вход успели преградить двое загадочно улыбающихся парней — наверняка стояли на шухере:

— Петюня пока не принимает!

Я прямо-таки опешил:

— Эт почему же?!

—Мамочка у него там.

— Какая ещё «мамочка»?

— Какая-какая, — ворчливо упрекнул один.

Второй свойски объяснил:

— Анпиловская!

Значит, носили они сюда не только воду, не только сигареты, но и кое-что еще, да-а...

Вся Москва на ту пору, казалось, только этим и была озабочена: что предпринять, чтобы миром заставить шахтеров прекратить стучать касками и по домам разъехаться... Лужков якобы ночей не спал: думал.

Да вот, все я про себя потом посмеивался, вот: отправить телеграмму в Прокопьевск, на знаменитый Тырган — жене петюниной. Мол, так и так: приходит мамочка.

Может, в другой какой конец — ещё примерно такую же.

И через два-три дня тут и следов от лагеря не останется —шахтерские жены разнесут!

Но нет, нет...

Кто-то эту кашу варит и варит: очень она кому-то нужна!

Ирбек появился, чем-то явно расстроенный: таким я его редко видел. Будто успокаивая себя, обе ладони положил на шишак чугунной ограды, за которой стояла полиэтиленовая, похожая на парник большая палатка, кивнул на табличку с крупными буквами: «Прокопьевск».

— Хоть тут — люди как люди!

— Какие, знал бы ты! — начал было я, отводя его чуть в сторонку.

Уже готов был потихоньку сказать ему о Петюне, который парится, бедный, с «анпиловской мамочкой», и понял вдруг, что не время ему об этом рассказывать... вообще не стоит... нельзя... далась ему эта чистая, прямо-таки юношеская любовь к Прокопе!

Собрались с ним уходить, шли к выходу из городка, когда нас догнала молодая журналистка из Воркуты, с которой я уже достаточно хорошо был знаком:

— Говорили, наш оркестр вам понравился... Может, останетесь послушать?

На свободной площадке в центре городка уже выстраивались четырехугольником мальчишки с трубами, уже стоял перед ними с поднятой рукой дирижер...

Детский духовой оркестр был из Чебоксар, из Чувашии. Накануне руководитель его, когда разговорились, показал дарственные часы от президента Николая Федорова, сказал с уважительной улыбкой:

— Любит нас... И мальчишек, и вот меня с ними.

— Тут как-то по телевизору проскочила информация, что он-то как раз против забастовки? — спросил его. — А вас сюда прислал...

И дирижер повел ладошкой:

— Не Федоров!.. Только и того, что глаза, как говорится, прикрыл... А деньги на поездку Меркушин дал, депутат Госдумы — это он всё поднимает шахтеров...

— Каникулы на Горбатом мосту? — сказал я сочувственно.

И он горячо откликнулся:

— Не говорите: в центре Москвы торчим, а Москвы, считай, и не видим...Только и того, что конфеты московские... задарили! Они уже нос воротят. Но обстановка тревожная... уедем на экскурсию, а вернуться вдруг будет некуда. Да ещё трубы... пропадут или побьют их. А это уж Федоров давал деньги: такие инструменты дорого стоят...

Оркестр ударил «Прощание славянки», и душа отозвалась тонкой болью: хрупкие мальчишки посреди этого грозного лагеря бунтарей... кто-то здесь наивен, как Ирбек Дзуцев, и также, как он, непримирим, а кто-то давно все понял... знает, что не в шахтовой кассе, а тут сейчас лежит его заработок... скольких из них увижу потом на съезде шахтеров в дорогих костюмах, модных рубахах, новеньких «мокасинах»... во что превратилась эта черная от угольной пыли, чумазая революция!.. Что ж, что лежит теперь посреди лагеря тряпичное чучело президента — сам он, въехавший на их горбу в Кремль, сидит там живой-здоровый… ну, может, не досмотрели — так же, как тут, лежит...

— Здорово у них получается! — с теплотой в голосе негромко сказал Ирбек.

И я отозвался:

— А ты думал?

А мальчишки уже заиграли «На сопках Манчжурии»: и старые, ну, как будто бессмертные наши беды опять припомнились, и горе-горькое наше, и общая наша русская вина за всё, что произошло с родиной... что нынче происходит...

— Дети, считай... и так играть! — растроганно проговорил Ирбек. — Ты веришь: не хуже наших цирковых «лабухов».

— Ну, конечно! — поддержал я с нарочитой иронией. Эталон мастерства: ваши «лабухи». Как перед утренним представлением поди надерутся...

Но он не слышал меня:

— Лучше!.. Я тебя уверяю: лучше...

Вечером он вдруг позвонил мне домой:

— Не спишь ещё?.. Ты ведь у нас — вместе с курами. Хорошо, что не спишь: я только что из цирка. Двадцать контрамарок им хватит?

Я сперва не понял:

— Кому?

— Кому-кому, — проговорил он ворчливо. — Ребятишкам этим. Оркестру. Давай так: ты с утра съездишь, скажешь им. Сможешь? Найдешь время?.. А я буду у входа ждать в половине седьмого вечера... Решено?

— Какой ты молодец! — искренне сказал я. — А я вот, видишь, не догадался попросить тебя... опять джигит в роли доброго волшебника, Юр?..

— Ты на мой вопрос не ответил! — сказал он нарочно строго. — Ты сможешь?

Назавтра хотел приехать к зданию цирка первым, но он уже ждал там. Опять стал было от чистого сердца его подхваливать — какая, мол, для ребят радость, — но он ворчливо остановил:

— Я о другом ночью... не спал, веришь. Что вообще с ними будет? И с этими ребятишками, и кто поменьше, и кто родится потом... не выходит из головы! А контрамарки это мелочь... держи!

— Нет-нет! — отвел я его руку. — Проведешь сам. Пусть они запомнят: не кто-нибудь пригласил — джигит Ирбек Кантемиров, осетин...

И он невольно вздохнул:

— Кантемиров-то ладно... Но ради Осетии...

Мальчишки появились большой и шумной оравой, и в середине, и по бокам шли принаряженные шахтерики, и я улыбнулся:

— Опять тебе придется в дверях двух за одного считать?

Напоминал ему, как однажды мой младший сын, попросивший через меня пять контрамарок, привез потом на представление больше десятка казачат, и я, что называется, схватился за голову, но Юра твердо стал напротив пожилой билетерши и с нарочито серьезным видом взялся проталкивать ребят по-двое:

— Одна пара... две пары... три... сколько там, Нина, — пять?

Улыбаясь помолодевшими глазами, женщина повела ладошкой:

— Все равно не хватит... пусть все!

Когда все казачата оказались в фойе, с серьезным видом спросил его:

— Что ж ты не рассказывал?

Он поймался:

— О чем?..

— Что ты не только джигит — ещё и старый фокусник?

И он рассмеялся, довольный:

— Это цирк!.. Хочешь или не хочешь, всему научишься.

Теперешние его гости, конечно же, засиделись там, на Горбатом мосту — ещё на подходе толкали друг дружку, кричали, громко смеялись... Но то ли началось, когда в фойе каждый нацепил себе купленный в цирковой лавчонке большой красный нос, каждый в левой держал мороженое, а правой пытался отбиваться зажатым в пальцах продолговатым, как огурец, длиннющим воздушным «шариком»...

— Как ты думаешь? — глядя на них, нарочно серьезно спросил у меня Ирбек. — На представленье они пойдут? Или им и этого, собственного, хватит?

И я расхохотался: недаром же Никулин накануне записи передачи «С легким паром» «подзанимал» у Юры анекдоты, недаром его шутки потом озвучивал!

Прошли с ним в директорскую ложу, откуда хорошо было видать, как мальчишки рассаживаются на своих местах... Расселись и тут же чуть не разом притихли.

— Смотри, какие пай-мальчики! — повел на них глазами Ирбек.

— А ты небось думал, что они арену займут?

— Сейчас будет оркестр, — проговорил он. Я уже их подначил: сравним...

Все глядел на мальчишек, а я опять вспомнил уже давний теперь приход на Цветной бульвар казачат... Большинство, которому не досталось мест, Ирбек одного над другим рассадил под деревянным бортиком на ступеньках в проходе, и я тут же решил, что мы с ним сделали все, что могли, но он тихонько скомандовал:

— За мной давай-ка — не отставай!

Быстро прошли какими-то хитрыми переходами и оказались в буфете.

— А, дядя Юра! — дружелюбно встретила его молодая буфетчица. Что — любимого вашего томатного? Один стакан? Два?

— Три! — сказал он ей в тон. Только не соку, а три картонных коробки из-под сока... найдешь?

— Конечно, дядя Юра — для вас...

— Разрывай и складывай вот так! — приказал он мне, когда буфетчица принесла нам коробки.

— Что надо, не пойму...

Сам он уже растерзал одну:

— Видел, где мы их посадили? На камень... на бетонные ступеньки... дети! Долго им простудиться? В несколько раз складывай... под попку...

Там сидел и мой внук, сидел Глеб, которого Георгий, сын, специально туда определил, чтобы остальным не было обидно... но почему не я, а Ирбек тут же бросился искать эти коробки, ну, — почему?!

Держа около груди по охапке вчетверо сложенного картона, тихонько вернулись на представление: в круглом зале держалась напряженная тишина, головы у всех были задраны — под куполом работали акробаты. Он попридержал меня у входа на верхнем ярусе, а когда ударила музыка, обвалом грохнули аплодисменты, подтолкнул плечом, кивком позвал вниз.

— Привстань-ка! — шепнул первому мальчишке, и тот послушно приподнялся и сел уже на картон.

Шагнул ещё не ступеньку вниз:

— Привстань-ка!

Но казачок попался упертый. Руками схватился за край ступеньки.

— Чи-о?! — спросил громким шепотом.

Не знаю, почему это Ирбек перешел вдруг на «цирковой-изысканный»:

— Приподыми-ка «мадам Сижу»!

— Чи-о-о-о?! — совсем потерялся казачок.

— Задницу приподними! — перевел Ирбек на родной наш язык, на обыденный. — Ну, жопу, жопу!..

...И вот когда его не стало, когда так неожиданно ушел, когда Москва так недостойно простилась с ним: ни траурной рамки в газетах, ни слова по радио, ни хоть коротенького сюжета по телевизору — я, младший, вдруг ощутил настоящее горькое сиротство...

Оказалось, наш с ним шутливый договор о беспрекословном соблюдении горского, кавказского «кодекса чести» в стремительно опускающейся в омут «общечеловеческих ценностей» столице, был и в самом деле надежным щитом от нарастающей вокруг разнузданной пошлости и густопсового хамства...

Неужели останусь теперь со всем этим — один на один?

Неторопливо и честно писать о джигитах — так, чтобы ни мне самому, ни Ирбеку, ни обоим нам не было стыдно, — с годами вошло у меня в привычку, сделалось добровольной обязанностью. Давно уже понял, что это мне на роду написано — о них рассказать, но не спешил, не торопился: вон как пока силен и красив, как подвижен и крепок, как духом могуч мой друг!

И вот ушел — а я о чем-то не расспросил его, чего-то, может быть, недопонял, что-то благополучно успел забыть... Издержки «вольных хлебов»... может быть, слишком «вольных»? При которых вроде бы никому ничего не должен, никто тебя не торопит... откуда же теперь эта горечь горькая?

Не позвонит, не пошутит, никуда не позовет больше, не приободрит не только взглядом одним своим благородным, полным кавказского изящества и ненарочитого достоинства видом...

В один из тоскливых дней после гражданской панихиды на арене пустого полутемного цирка отправился к общему нашему с Ирбеком товарищу, работавшему тогда в «Парламентской газете» однокашнику по факультету журналистики Саше Алешкину. Сам он отлучился по делам службы, не сидевшие в кабинете за шахматами его коллеги передали, что просил обождать, и я сел в сторонке, невольно приглядываясь к игравшим: так безобразно громко они кричали и спорили... мало, мало того!

В кабинете стоял сплошной мат, всякий очередной ход сопровождался грязной руганью в изощренной, в отвратительной форме... хоть всего-то газетчики — тоже «мастера» слова!

Вскакивали и потрясали кулаками, раздергивали якобы непременные — положение обязывает! — галстуки, хватались за жиденькие волосы на давно полысевших головах, сгибались и разгибались, в забывчивости некрасиво почесывались, и у каждого был такой вид, будто сейчас то ли пукнет, а то ли, расстегивая молнию на ширинке, шагнет в угол...

Мне вдруг показалось, что они меня разыграли, никуда Алешкин не уходил — вот же он, вылитый: только и того, что на белесом худощавом лице воспаленные глаза сильно подзакисли и пену в уголках рта давно вытереть не мешало бы...

Блажен, кто подобного душевного смущения не испытывал!

Я встал, вышел и никогда больше не звонил Алешкину и никогда не заходил к нему... ты уж извини меня, Саша, — так получилось!

Правда, в этот первый год без Ирбека случилось одно радостное и чуть загадочное, мистическое, если хотите, событие...

Валентин Распутин позвал меня осенью в Иркутск, на проходивший здесь уже который год праздник «Сияние России». Встретил нас, небольшую кампанию москвичей, в аэропорту и почти тут же отвел меня в сторонку:

— Ты не обидишься?.. Расписывал тут, кто куда поедет, и тебе выпали рабочие города — Братск и Усть-Илимск... поймешь правильно?

Чего ж не понять? Больше десятка лет на «ударной комсомольской» стройке в сибирской молодости, это, братцы мои — на всю жизнь А так называлась самая первая, самая тонюсенькая книжечка Валентина Григорьевича?.. «Костровые новых городов»!

Осень стояла удивительная, с пылающими яркой желтизной лиственными лесами, которые тянулись и тянулись под небом удивительной голубизны, и я был рад, что сказочный этот вид продлился для меня благодаря почти немеренным расстояниям по железной дороге уже внутри области — до чего она, страна Сибирия, и действительно велика!

В Братске спустился к берегу Ангары, умылся речной водой и постоял, улыбаясь давним годам...

Навстречу утренней заре —
По Ангаре, по Ангаре!..

Как тогда выпевали наши девчата именно эти слова…да!

…девчонка, девчонка танцует на палубе, — эти тоже...

Каждая тогда думала, что хоть и далеко Ангара, но это, конечно, — прямо-таки о ней... где тогда, интересно, был Рыжий Толян, который и Ангару тоже теперь, считай, прикарманил? Сколько ему тогда было лет?

Посреди вечера в одном из читальных залов ко мне подсела очень скромно одетая худенькая пожилая библиотекарша, положила передо мной старый мой престарый роман «Пашка, моя милиция» — ну, до того истрепанный и клееный-переклееный!

— Помню вас, я с нашей Антоновской площадки, с Запсиба, — взялась тихонько нашептывать. — Тогда всё — Братск, Братск, а у нас ничего, до разворота далеко было, помните — тишина, и я сюда приехала: за романтикой.

Спросил по инерции:

— Нашли?

Как печально она посмотрела на меня: был взгляд раненой птицы, оставшейся жить в чужом краю... бедные вы мои! Какая там «утренняя заря», какая «палуба»!

...Как раз в этот миг, сейчас, компьютер «нового поколения» — благодаря добрым людям только что задешево приобрел у одного богатого «продвинутого», которого он уже перестал устраивать, — так вот, эта бездушная машина, что то и дело теперь подсовывает в мой текст то советы, а то готовые наработки, попыталась тут же напомнить мне о полузабытом в нашей жизни клише «заранее благодарен», и я вдруг горько подумал, что это, может быть, единственная благодарность, которую заслужило бедовавшее на десятках «великих» строек, на сотнях чуть меньше них, моё поколение... продающий эти машины далекий чужой миллиардер, и тот понимает и, в отличие от наших, новоявленных, выходит, как бы сочувствует забытым и обездоленным!..

Но настоящую радость мне пришлось испытать в Усть-Илимске.

Мы были в только что создаваемой местной художественной галерее, когда речь зашла о Кавказе и о кавказцах.

— Вы в тех местах бывали? — спросила у меня милая молодая женщина, руководитель галереи Наталья Игоревна Плевако. Хоть немножко их знаете?.. У нас тут небольшая проблема: на первых порах, конечно же, приходится чуть не по всей стране побираться, вот Москва и прислала нам две очень хорошие графические работы, но кто на них...

Работы тут же из запасника принесли, я глянул...

Как-то уже пытался писать, что нет ничего случайного, во всем — промысл Божий.

С одного листа глянул самый старший Кантемиров: уже в почтенных, очень почтенных годах Алибек Тузарович, глава династии. С другого смотрел на меня мой друг Ирбек.

Пришлось достать из кармана пиджака Мишину иконку в твердой, в виде подковы, оправе из кожи.

— Как хотите, это она к вам привела! сказал, перекрестившись.— Георгий Победоносец, которого осетины зовут Уастырджи. Считается — покровитель мужчин, воинов, путников... Мне её подарил в свое время знаменитый наездник и каскадер Мухтарбек Кантемиров — «Не бойся, я с тобой», двухсерийный фильм, может, помните? Там он в главной роли. А здесь его отец и его старший брат.

— Вы уверены?.. Это точно? — стала допытываться Наталья Игоревна. — Мы писали художнику, хотели, чтобы он нам ответил...

— И он не ответил?

— Да, почему-то не ответил.

— К несчастью, он пропал.

— В каком смысле?

— В прямом, — пришлось сказать. — В самом прямом...

Подлое, и действительно, время, которое стольких уже поглотило одного за другим! Никто не знает, куда делся Заурбек Абоев, умница и красавец, талантливый осетинский график, писавший неплохие стихи... Ирбек уже был тогда главой землячества, с помощью высоких милицейских чинов тоже пробовал искать его... нет!

Но вот остались прекрасные его работы, и две из них чудом переместились в Сибирь, которую так любили отец и сын... мало сказать, в Сибирь — в самый центр её, в самую глубину-глубинку!

— Вы нам пришлете хоть что-нибудь о них? — попросила директриса музея.

В Москве я первым делом позвонил Мухтарбеку, рассказал об усть-илимском музее, дал адрес, и оба мы потом слегка растрясли наши «кантемировские» архивы — ради сибиряков...

И вот дома, опустив голову, почти касаясь лбом оконного стекла, стоял я, невидящими глазами глядя на свою Вятскую, по которой неслись машины, и всё размышлял, и все пытался понять...

Ну, с ребятишками ясное, предположим, дело: Ирбек никак не мог дождаться внуков — Марик не торопился связывать себя женитьбой, не торопился, и вот она где прорывалась, эта любовь к детишкам и эта боль.

Недаром ведь о них всегда: династия Кантемировых.

Династия!

А продолжателя нет...

Через несколько лет мы созвонимся с Володей Ли, главным администратором цирка на Цветном бульваре, тестем Маирбека, который будет в то время с гастролями в Англии, созвонимся и съедемся на развилке дорог недалеко от Звенигорода...

Счастливый Володя, дитя корейца и «щирой» украинки, прошедший суровую цирковую школу бывший акробат, вылезет из машины с годовалым бутузом на руках:

— Знакомься, Юра, с дядей! — начнет говорить ему. Он друг твоего дедушки... знакомься, Ирбек!

Попробую черноглазого малыша взять на руки, но раздастся такой густой, мощный рев!..

— Ну-ну, — скажет Володя. — Ну-ну, а то и отец с матерью там услышат... англичане им продляют контракт, представляешь? Они вообще запрещают кому бы то ни было появляться в стране с парнокопытными, а тут был такой успех, что предложили ещё на несколько месяцев остаться: послезавтра директор сам полетит подписывать договор.

Так вышло, что «послезавтра» мне пришлось прийти «на Цветной бульвар», чтобы повидаться с Татьяной Николаевной Никулиной... От неё, сидевшей в кабинете покойного мужа, Юрия Владимировича, только что

стремительно вышел с бумагами их сын Максим, нынешний генеральный директор, в приемной чуть не налетел на вошедшего с кипой черных бурок в руках Володю Ли, промчался в свой кабинет.

— Маирбеку хочу с ним, — торопливо сказал на ходу главный администратор, ношей своей раздвигая оставленную приоткрытой дверь в кабинет генерального. — Говорил: сейчас улетает.

Зато какое спокойствие царило там, где сидела Татьяна Николаевна!

Превращенный в музей кабинет Юрия Владимировича, и при нем ещё уставленный сувенирами со всех концов света, теперь, что называется, ломился от них, и сама она, уже очень пожилая, сухонькая, после нескольких дней болезни поблекшая тоже невольно гляделась тут одним из многочисленных экспонатов.

Заговорили о Кантемировых, и Татьяна Николаевна очень медленно, будто потихоньку доставая это из памяти, стала рассказывать, как в давние теперь, предавние времена, когда выпадали совместные с осетинскими джигитами гастроли, Мариам Хасакоевна, которой и без того приходилось заботиться о своих трех мужчинах, заодно брала на свой кошт Никулиных, как вкусно она готовила и кавказские блюда и русские щи, как тепло и весело было за общим большим столом...

И тут стало происходить что-то удивительное: на глазах она начала оживать, начала как бы молодеть... Скрывавшие до этого усталую боль глаза зажглись, заискрились, на впалых, давно не видавших косметики щеках появился яркий румянец. Как очаровательно она улыбнулась!

— Если бы т о г д а вы их видели: Ирбека и Мухтарбека! — сказала вдруг зазвеневшим голосом. — Юру и Мишу... Какие, и правда, были красавцы!

Но почему их все-таки так тянуло в Сибирь?

Вышагивая по своему не очень просторному кабинету как бы положенные для печальных раздумий километры, однажды остановился, постоял так, словно к чему-то далекому прислушиваясь и вдруг влепил себе в лоб раскрытой ладонью: тюха-матюха!..

Как о таких, вроде меня, молодцах в родной моей станице говаривали...

Или это уже из того, что в других, в далеких от Кубани краях было услышано и стало потом моим?..

Так и тут: все на свете одно с другим переплетено, все связано-перевязано тем более на просторах нашей Руси-матушки, где многое перемешивали, перетасовывали ещё и нарочно!

Что ж ты, подумал о себе, что ж ты уже столько лет, стреляный вроде воробей, о джигитах размышляешь как бы отдельно, о казаках — отдельно и также о них всегда пишешь... да ведь ссыльные казаки и были в Сибири теми самыми зрителями, которые душеньку свою отводили на представленьях джигитов!

Да как же ты раньше до этого не дошел?

Опять, как в нашей станице: не дотумкал?!

А ведь было тебе столько знаков: да тот же спасатель «Шахтер» около Лемноса, который одним своим неожиданным появленьем должен был в твоем сознании многие концы и начала соединить! Не отсюда ли тысячи казаков разбрелись потом по Европе, в каких только странах не осели, родили детей, многих растили в русских школах да кадетских корпусах, оказались с ними в немецком Казачьем стане, в корпусе у генерала фон Паннвица, в австрийском Лиенце, где так жестоко англичане их предали, и в «телячьих вагонах» покатили оттуда в Кузбасс... А кто их тут встретил?

Бедолаги, которых с Дона, с Кубани, с Терека выслали сюда двумя десятками лет раньше: во времена расказачивания-раскулачивания...

Кто все эти шахты бил?.. Кто «металлургию» да «химию» поднимал?

В большом очерке «Последнее рыцарство», который был опубликован в первые годы шумно разрекламированного, но так пока и не состоявшегося нашего «возрождения», которое впору уже «вырождением» называть, рассказал кроме прочего об отце старого свого друга Николая Бурыма, выросшем сиротой лихом «красном» казаке с Терека: как раз из-за его сироства да из-за природного удальства не однажды пощадили его сердобольные, старше возрастом «белые»... Очерк этот многим тогда понравился, а Коля, посмеиваясь, сказал мне:

— Хочешь, я тебе — продолжение?.. Когда распределился на работу в Междуреченск, через год-два приехал ко мне отец. Денек-другой погостил и говорит вдруг: съезжу-ка я, сынок, в Прокопьевск. После гражданской туда половину нашей станицы вывезли... Как они там?.. Хоть одним глазком глянуть!.. Вернулся оттуда мрачный и говорит: хорошие ребята, но больше я туда не поеду. Стоит выпить стакан, и каждый тут же о вооруженном восстании... Нельзя к ним ездить, сынок, нельзя — а то ведь загребут вместе с ними!

А книжка Евгении Владимировны Польских «Это я пред тобою, Господи!»?.. Искусствовед по профессии, работала в Москве, уехала во время войны в родные края, на Ставрополье, тут во время оккупации вышла замуж за казака, который вернулся с немцами, с ними оба ушли: муж её издавал у Паннвица газетенку «Казачьи ведомости»... ну, прямо-таки, как ваш покорный слуга — в Союзе казаков у батьки Мартынова... В Лиенце их взяли вместе, но на первой же «нашей» станции разделили: офицеров потом провезли дальше, в глубь Сибири, и о муже она ничего больше не слышала, а основную массу «простых казаков» разбросали по зонам «Кузбасслага» да «Южкузбасслага»: в Кемерово, в Ленинск-Кузнецком, в Белове, в Киселевске с Прокопьевском, в Мысках, в Междуреченске...

Читал книжку, изданную после очередного её возвращения в Ставрополь, уже в девяностые, и вдруг наткнулся на фразу, от которой зашлась душа: «После ласковых имен кубанских наших станиц — Отрадная, Спокойная, Привольная — ранили даже грубые названия здешних мест: Тайбинка, Тырган, Сибирга...»

Но для меня-то и они звучали торжественной музыкой!

Что говорить о чуть ли не родном Прокопьевском Тыргане... В шутливых стихах беспечной молодости была воспета и соседняя с Новокузнецком Сибирга:

Сибирга, Сибирга!
Приготовь стопарик.
К тебе едет дядя Га...
Дядя Сибир-Гарик!

Ну, что делать, если комсомольские наши стройки возникли потом в тех местах, где перед этим были лагеря с нашими же земляками, а то и близкими родственниками... Думаю иногда: может, побывавши на преддипломной практике в Кузбассе, оттого-то и рвался потом в Сибирь, в места казачьей погибели, что Божий промысл для меня был — как раз об этом и рассказать, но за шумными песнями о «величавой Ангаре», о том, как «девчонка танцует, танцует на палубе», я его тогда так и не расслышал и начинаю различать только теперь, когда размышляю о своем друге-джигите...

Ведь представьте себе, действительно, вы только представьте: бить и бить в глубине эти черные норы, в которых тяжелая земля во время обвала навсегда засыпает твоих товарищей; если пласт угля невысок, годами потом стоять в этих норах на коленках; пить после безрадостной смены вусмерть, чтобы забыться и хоть как-то отдохнуть... И вдруг по городу слух: джигиты приехали!

За тридевять земель от родного дома сидеть среди немногих выживших станичников под брезентовым пологом «шапито», втягивать жадными ноздрями лошадиные запахи, слышать тихое ржанье, и — вдруг, вдруг!

С лихим гиканьем, стремительно врываются на арену горячие кони с лихими наездниками в черкесках и высоких папахах — будто из недавнего прошлого...

Да так ведь оно и было: полвека назад на ростовском ипподроме совсем молодой тогда осетин Алибек Кантемиров учился джигитовке у донских казаков, а теперь их детям и внукам передавал, несчастным страдальцам, привет с их зеленой и теплой родины...

...Они восстали-таки, но поздно, поздно, когда позвали их уже не свои, позвали чужие, недаром ведь среди шахтерских вождей оказалось столько немцев или якобы немцев, которые преспокойно потом уехали кто в Германию, кто в Израиль: приторговывать там сибирским угольком да металлом...

— Говоришь, недавно был у нас, тогда, может, видел эту картину? — расспрашивал меня возле Горбатого моста «дежурный сторож» Петюня. — Её теперь на всех митингах выставляют, на всех праздниках: «Прокопьевский петух» называется. На перекладине мощный кочет с такими шпорами, что будь-будь, ударил крыльями, задрал голову прямо-таки слыхать, как орет... А перед ним вполнеба — заря!

Занялась над родиной, как же...

— И Норильск, и Воркута это уже потом. И междуреченские ребята с шахты Шевяковой — это после. А первыми наши прокричали: в Прокопьевске!.. Почему себе и кликуху эту — Петюня. Наш петух первый свободу объявил!

Как все же хорошо, что я не стал тогда Ирбеку о Петюне рассказывать!..